



Максим Козлов

# Граница

18+

Максим Козлов

# Граница

«Автор»

2026

## **Козлов М.**

Граница / М. Козлов — «Автор», 2026

Андрей Смирнов — торакальный хирург. Его пятилетний сын Тимофей умирает от нейробластомы. Лекарство существует, но стоит десять миллионов — сумма, которую не собрать. Однажды ночью в больничном сквере к Андрею подходит незнакомец. У него в руках планшет с фотографиями голодающих детей и черная коробочка с красной кнопкой. Условие простое: нажмете — ваш сын получит лечение и выживет, но гуманитарный конвой не уйдет в Африку, и тысяча детей погибнет. Не нажмете — спасете тысячу, но потеряете сына. Десять секунд на выбор. Андрей не нажимает. Сын умирает. Дальше — падение в бездну: работа на ту же организацию, чужой выбор, нож в подъезде, тюремный барак. Исповедь человека, который перешел границу между любовью и моралью и обнаружил, что по ту сторону — такая же тьма. История, после которой вы дважды подумаете, прежде чем осуждать кого-то за выбор.

© Козлов М., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Шум в ушах	5
Зеркало	13
Собачья работа	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Максим Козлов

## Граница

### Шум в ушах

Свет в коридоре больницы всегда горел вполнакала. Лампы гудели едва слышно, но я слышал. Я стал слышать все эти звуки, когда мы легли в онкологию. До этого я работал в тишине операционных, где гудит только аппаратура, а здесь гудело всё — стены, пол, воздух. Особенно воздух. Он был спертый, пропитанный хлоркой и чем-то сладковатым, что бывает только в детских отделениях. Запах лекарств, пробивающийся сквозь вентиляцию, и запах страха. Страх пахнет кислым молоком и мокрой бумагой. Кто работал в таких местах, тот знает.

Меня зовут Андрей Сергеевич Смирнов. Мне сорок два года. Я торакальный хирург. Я вскрывал грудные клетки сотни раз. Я видел, как останавливаются сердца на столе. Я умел запускать их снова прямым массажем, когда теплая мышца скользит в пальцах, и ты уговариваешь её сокращаться. Я умел всё. Я не умел только одного — лежать ночью на раскладушке рядом с койкой своего сына и слушать, как он дышит. Дышит так тихо, что приходится задерживать своё дыхание, чтобы услышать его.

Тимофею было пять. Он называл меня папка. Когда мы только поступили, он спросил, почему я больше не хожу на работу в свою «порезательную», так он называл операционную. Я сказал, что взял отпуск. Он спросил, надолго ли. Я сказал, что пока он не поправится. Он кивнул очень серьезно, по-взрослому. Дети в онкологии быстро становятся взрослыми. Слишком быстро. У них меняются глаза. Сначала они просто блестят, как у всех детей. Потом в них появляется какая-то пленка, будто они смотрят немного сквозь тебя. Это не капризность и не усталость. Это понимание. Пятилетний ребенок не должен ничего понимать про смерть. А они понимают. Не умом, а телом. Клетки уже знают, и это знание поднимается в глаза.

В тот вечер я сидел на подоконнике в коридоре. Медсестры меня не трогали. Они знали, кто я. Коллега. Только теперь я был по ту сторону. По ту сторону баррикады, где нет халата, который защищает тебя от эмоций. Халат — это броня. Когда ты в халате, ты воин. У тебя есть задача. У тебя есть протокол. А когда ты в мятых домашних штанах и старой футболке с пятном от кетчупа, которое Тимоха поставил ещё до болезни, ты просто отец. И у тебя нет протокола. У тебя есть только страх.

Химия не работала так, как мы надеялись. Профессор Комаров, старый друг, с которым мы вместе начинали ординатуру, вызвал меня в кабинет три дня назад. Кабинет был обшит деревом, как будто это должно было смягчить удар. Не смягчило.

— Андрей, — сказал он и снял очки. Он всегда снимал очки, когда говорил плохие новости. Я знал эту привычку. Я сам её перенял когда-то. — У Тимофея нейробластома четвертой стадии. Ты знаешь, что это значит. Мы сделали всё, что могли на этом этапе. Опухоль резистентна к стандартной химии. Есть экспериментальный протокол. Новый препарат. Иммуно-терапия таргетная. На Западе уже дает ремиссии в сорока процентах случаев на этой стадии. У нас в стране только начинаются испытания.

— Что за препарат? — спросил я. Губы одеревенели. Я еле шевелил ими, как после заморозки у дантиста.

— Динутуксимаб бета. В комбинации с цитокинами. Курс стоит около десяти миллионов рублей. Может, чуть меньше. Это если без учета госпитализации. Госпитализацию я могу сделать по квоте, но сам препарат Андрей, это редкая дрянь. Очень редкая. Спрос маленький, производство ограниченное, цена бешеная. Ты же понимаешь, как это работает.

Десять миллионов. Я повторял эту цифру в голове, и она звучала как приговор. Я продал машину месяц назад, когда ещё только легли на обследование. Старый «Ленд Крузер», он был мне дорог не потому что дорогой, а потому что мы на нем ездили на Байкал прошлым летом. Тимоха тогда поймал первую рыбу. Хариуса. Смешной такой, маленький. Он кричал: «Папка, смотри, он блестит!». Я продал его за полтора миллиона. Смешные деньги. Квартира стоила миллионов шесть, не больше. Однушка в спальном районе. Ипотека ещё не закрыта. Кому она нужна срочно? Даже если продать всё — не набиралось и половины. А время уходило. Каждый день клетки делились в теле моего сына, и каждый день я сидел и считал деньги, как проклятый бухгалтер.

В коридоре было тихо. Я смотрел в телефон. Экран светился, высвечивая таблицу в экселе, куда я вносил все возможные варианты. Фонды, знакомые, коллеги, бывшие пациенты. У меня были пациенты, которые могли бы помочь. Я знал это. Но я также знал, что обзванивать их — это последнее дело. Хирург, который оперировал твоё сердце, звонит и просит денег. Это разрушает магию. Ты для них был богом, а становишься попрошайкой. Я был готов стать попрошайкой. Но даже это не гарантивало десяти миллионов.

В час ночи из палаты вышла Наташа, моя жена. Она была в том состоянии, которое я называл «тихое отчаяние». Когда она не плакала, а смотрела в одну точку и говорила очень спокойно. Так спокойно, что становилось жутко.

— Он уснул. После укола. Опять плакал, что болят ноги. Говорит, будто иголки внутри, — она села рядом на подоконник, прижалась плечом. От неё пахло теми самыми сладковатыми лекарствами. — Андрей, что нам делать? Ты нашел что-нибудь?

— Я ищу, — сказал я.

— Ты всегда так говоришь. «Я ищу». А время ищет нас. Быстрее, чем мы его.

Она была филологом. Преподавала в университете русскую литературу. Всегда умела формулировать так, что слова резали не хуже скальпеля. «Время ищет нас». Лучше не скажешь. Рак — это гонка, в которой ты всегда проигрываешь, если у тебя нет денег. Не знаний, не опыта, не связей. Просто денег. Бумажек, которые могут превратиться в прозрачную жидкость в шприце.

— Я найду, — сказал я. — Ложись к нему. Я посижу ещё.

Она ничего не ответила. Поцеловала меня куда-то в висок, не попав, и ушла обратно в палату. Её тапочки шаркали по линолеуму. Звук был такой обреченный, что я сжал зубы до скрипа.

Я сидел до трех ночи. Потом спустился в холл первого этажа, где стоял кофейный автомат. Автомат был старый, кофе плевал коричневой жижей, но это была хоть какая-то замена сну. Я не спал нормально уже недели три. В голове стоял туман, в котором мысли плавали, как рыбы в мутной воде. Иногда они всплывали к поверхности — яркие, четкие, страшные. Чаше просто кружили где-то на дне.

Когда я пил этот кофе, обжигая губы, ко мне подошел человек. Сначала я подумал, что это охранник. Одет он был, как обычный посетитель: темная куртка, джинсы, ботинки. Но что-то было не так. Слишком чистые ботинки для трех ночи. И взгляд. Он смотрел не на меня, а сквозь меня, но при этом видел каждое мое движение. Как снайпер.

— Андрей Сергеевич Смирнов? — спросил он. Голос был нейтральный, без интонаций. Как у банкомата, когда он спрашивает, вставить ли карту.

— Да. Мы знакомы?

— Не напрямую. Меня зовут Виктор. Я представляю организацию, которая могла бы вам помочь. С вашим сыном.

Я сразу напрягся. В голове пронеслись все варианты мошеннических схем, которые я знал. Их было много. Когда у человека горе, на него слетаются стервятники. Они обещают

исцеление, уникальные методики, стволовые клетки из Тибета и прочую дрянь. Я думал, что готов к этому. Но этот человек был другой породы.

— Я не нуждаюсь в услугах целителей и не буду переводить предоплату, — сказал я и хотел отойти.

— А я и не прошу денег, Андрей Сергеевич. Я предлагаю вам ровно обратное. Мы оплатим полный курс лечения вашего сына. Лучшая клиника в Мюнхене. Транспортировка, проживание, всё. Никаких долгов и расписок. Это не шутка и не мошенничество. Можете проверить мои документы, если хотите, но это мало что вам даст. Я бы на вашем месте просто выслушал.

Он говорил так спокойно, что у меня внутри что-то оборвалось. Не надежда. Ещё не надежда. Это было что-то похожее на электрический разряд, который прошел от затылка до пяток. Я много лет работал с людьми и научился распознавать ложь. Я не чувствовал лжи в его словах. Я чувствовал что-то другое, что-то, чему не было названия.

— Слушаю, — сказал я и поставил стаканчик на автомат. Пальцы чуть дрожали.

— Здесь неудобно. Прогуляемся? — он указал головой на выход.

Ночной воздух резанул по легким холодом. Конец октября, лужи подмерзли, пар изо рта валил, как дым. Мы отошли в сквер перед больницей. Фонари горели желтым, создавая островки света, между которыми зияла чернота. Виктор шагал рядом, засунув руки в карманы. Он не выглядел опасным, но от него исходила волна какой-то жуткой уверенности. Так ведут себя люди, у которых есть власть, и они знают это. Не та власть, что дается должностью или деньгами. А власть знать то, чего не знаешь ты.

— Вам когда-нибудь задавали вопрос о цене жизни, доктор? — спросил он, глядя прямо перед собой.

— Каждый день. Я торакальный хирург.

— Это другое. Вы режете и шьёте. Это механика. Цена жизни — это вопрос не механики, а этики. Сколько жизней незнакомых людей стоит одна жизнь вашего сына?

Я молчал. Потому что ответа на этот вопрос нет. Или он есть, но говорить его вслух нельзя. Потому что любой отец скажет — да хоть весь мир. И он будет прав и виноват одновременно.

— Я не силен в философии, — сказал я. — Чего вы хотите?

Он остановился под фонарем. Свет упал на его лицо. Обычное лицо. Славянский тип, светлые глаза, небольшие залысины. Возраст — около пятидесяти. Но глаза были не старые. Глаза были мертвые. Очень спокойные, очень мёртвые.

— Мы хотим предложить вам выбор, — сказал он и достал из внутреннего кармана планшет. Экран загорелся, когда он провел пальцем. — Прежде чем я покажу вам это, я должен спросить: вы готовы узнать условия? Это не шантаж и не игра. Условия будут предельно конкретны, и если вы их примете, пути назад не будет. Если откажетесь сейчас, я просто уйду, и вы больше никогда обо мне не услышите. Но и лекарство не получите. По крайней мере, от нас. Решайте.

Я смотрел на планшет. Экран был черным. Я чувствовал, как кровь стучит в висках. Десять миллионов, Мюнхен, жизнь Тимофея. Или гордость и отказ. Но он ещё даже не сказал, что нужно сделать. Может, просить меня стать донором органов для их босса? Может, продать душу? Я был готов продать душу.

— Показывайте, — сказал я. Голос был хриплым.

Он повернул планшет ко мне. На экране был видеоряд. Он шел без звука. Сначала я увидел бескрайнюю желтую равнину, выжженную солнцем. Потом деревню — глиняные хижины, козы, перевернутая телега. Люди. Много людей. Они сидели на земле и просто смотрели в камеру. Глаза у них были такие же, как у детей в онкологии. Пленка понимания. Только здесь это была пленка голода. Дети. Десятки, сотни детей. С тонкими как палочки руками, с вздутыми животами, с мухами, сидящими на лицах. Они не отгоняли мух. У них не было сил.

— Это южный Судан, — говорил Виктор, как диктор закадровый в документалке. — Здесь голод. Последствия засухи и гражданской войны. Каждый день здесь умирает около пяти тысяч детей. Пять тысяч. Вы представляете эту цифру, доктор? Это население небольшого городка. Каждый день. В год — почти два миллиона.

Я смотрел на экран. Я много видел смертей. Но одно дело — видеть, как умирает пациент на столе, когда ты сделал всё, что мог. Другое — знать, что где-то дети умирают просто потому что нет еды. Еды, которая есть у тебя в холодильнике. Просто ты выбросил вчера недоеденный хлеб. А им нечего есть неделями. Это знание всегда было где-то на периферии сознания. Как радишум, который не мешает, пока не прислушаешься.

— И причем здесь я? — спросил я, хотя уже понял. Понял раньше, чем он ответил. Потому, как он перелистывал картинки пальцем — медленно, давая мне всмотреться в каждое лицо.

— У нашей организации есть ресурсы, — продолжал он. — Огромные ресурсы. Мы можем закупить продовольствие, обеспечить логистику и наладить временный пункт питания. Завтра. Буквально завтра. Мы можем спасти этих детей на экране. Ровно тысячу. Мы можем дать им еду, воду, медикаменты. И они выживут.

Он сделал паузу. Я слышал, как где-то далеко проехала машина, шурша шинами по мокрому асфальту.

— Или, — сказал он, выделяя это «или», — мы можем оплатить лечение вашего сына. У нас ограниченный бюджет. Он позволяет сделать что-то одно. Понимаете? Либо гуманитарная миссия для тысячи детей в Африке. Либо ваш Тимофей.

Мир качнулся. Буквально качнулся перед глазами, как будто я выпил залпом стакан водки на голодный желудок. Я смотрел на экран, где застыло лицо маленькой черной девочки с огромными глазами. У неё были косички, собранные цветными резинками. Резинки выцвели на солнце, но всё ещё держались.

— Вы серьезно? — мой голос прозвучал глухо. — Это какой-то садистский эксперимент?

— Это реальность, доктор. Реальность, в которой ресурсы всегда ограничены. Просто большинство людей предпочитает об этом не думать. Мы же даем вам возможность принять решение осознанно. Выбор за вами. Тысяча детей, которых вы никогда не видели. Или ваш сын, которого вы видите каждый день. Кто имеет больше прав на жизнь?

— Это софистика. Нельзя сравнивать. Я их не убиваю. Они умирают сами по себе. Это естественный ход вещей. Война, голод — это не моя ответственность.

— Разве? — Виктор чуть улыбнулся уголком рта. От этой улыбки мне захотелось его ударить. — А если я вам скажу, что система работает так, что вы всё равно принимаете участие в этой цепочке? Каждый кусок хлеба, который вы съедаете, каждая копейка, которую вы тратите на лечение, — это ресурс, который мог бы пойти голодающим. Вы просто не видите связи, потому что она замаскирована комфортной жизнью. Мы же просто снимаем маскировку. Мы показываем связь напрямую. Вот кнопка, вот результат. Нажатие — ваш сын живет. Ненажатие — живут они.

— Кнопка?

Он снова полез в карман куртки и вытащил небольшую коробочку. Она была сделана из черного пластика, с единственной красной кнопкой в центре. Никаких проводов, никаких лампочек. Просто кнопка. Как от дверного звонка.

— Мы называем это «Граница». Простое устройство. Если вы нажмете эту кнопку сейчас, я уйду, а через час вам позвонят и подтвердят запись в клинику. Билеты, трансфер, палата — всё будет готово. Ваш сын получит лечение. Через месяц у него будет ремиссия. Я гарантирую.

— А дети в Африке? — спросил я, хотя голос сел почти до шёпота.

— Они умрут. Их смерть будет такой же неизбежной, как и была бы без нашего вмешательства. Но мы могли бы её предотвратить, если бы вы не нажали кнопку. Это важно пони-

мать. Отказавшись от кнопки, вы их спасаете. Прямо сейчас. Я даю вам слово, что завтра в лагерь беженцев в южном Судане прибудет конвой с провизией. Тысяча детских жизней будет спасена. Вы лично спасете их. Вашим отказом. Вашим выбором.

Я смотрел на кнопку. Пластик матово блестел в свете фонарей. В голове был гул, как в трансформаторной будке. Тысяча детей. Целая школа. Если поставить их в линейку, они займут, наверное, километр. Или два. Тысяча пар глаз. Тысяча матерей, которые увидят, как их дети перестают дышать. И один Тимофей. Один смешной мальчик, который любит конструктор и мультики про роботов.

— Почему я? — спросил я.

— Случайность. Вы оказались в нужном месте в нужном времени. Точнее, в ненужном. Критерии отбора сложны, но в целом вы подходите по профилю: человек с высокими моральными стандартами, профессия, связанная со спасением жизней, отчаянное положение. Такие решения, как вы понимаете, нельзя тестировать на ком попало. Это исказило бы данные.

— Данные? Вы собираете данные?

— Мы изучаем природу человека, — сказал он всё так же спокойно. — Это самое интересное исследование в мире. Что важнее: абстрактная мораль или кровная любовь? Справедливость или семья? Тысяча или один? Люди говорят одно, делают другое. Мы просто убираем зазор между словом и делом. У вас есть десять секунд, чтобы решить.

— Почему десять?

— Потому что если дать человеку час, он начнет рационализировать. Придумывать оправдания. Десять секунд — это чистый инстинкт. Итак. Время пошло.

Он положил коробочку с кнопкой на скамейку рядом со мной. Отступил на шаг. Смотрел на часы. Десять секунд. Сначала в голове был хаос. Потом наступила странная, кристальная ясность. Я увидел лицо Тимофея. Как он спит, закусив губу. Как он просил пить после химии. Как его рвало, и он плакал, и говорил «папа, забери меня домой». Я увидел всё это за одну секунду. Во вторую секунду я увидел черных детей на экране. Они смотрели на меня. Я попытался представить, что будет, если я нажму. Я услышал бы звонок через час. Услышал бы голос, который скажет: «Всё готово, собирайте вещи». Я бы поехал в Мюнхен. Мы бы пошли в клинику. Тимоха снова бы начал есть нормально, а не через трубочку. У него бы отросли волосы. Он бы пошел в школу. В первый класс. С букетом. Я бы пошел у него за спиной и думал: «Я спас его. А тысяча детей легла в землю».

Третья секунда. Я попытался представить, как я живу с этим. Я врач. Клятва Гиппократа — это не просто слова. Мы начинали наше дело, чтобы спасти. Не выбирать, кого спасти, а кого убить. Я не бог. Я не имею права распоряжаться чужими жизнями.

Четвертая секунда. Но Тимофей. Он не чужой.

Пятая. Что скажет Наташа? Она, с её любовью к Достоевскому, с её вечными дилеммами. «Андрей, а что бы сказал Алеша Карамазов?». Алеша Карамазов не проходил через такое. Книжные герои не проходят через запах больничного линолеума и вид собственного ребенка с катетером в вене.

Шестая. Я посмотрел на кнопку. Мой палец дернулся. Это было физическое движение, неосознанное. Тело хотело нажать. Мозг кричал: «Жми, идиот, жми, это твой сын, какое тебе дело до каких-то африканцев, ты их никогда не увидишь, их всё равно кто-нибудь убьет, война или голод, мир жесток, всегда был жесток, используй шанс». Это был голос инстинкта. Голос плоти. Голос отцовства.

Седьмая. Я вспомнил операцию, которую делал семь лет назад. Девушка, восемнадцать лет, ножевое в грудную клетку. Мы боролись за неё восемь часов. Я сшивал ей аорту. Она выжила. А через месяц я прочитал в новостях, что она села в машину к пьяному другу, и они разбились насмерть. Зачем я её спасал? Чтобы она погибла через месяц? Какой был смысл?

Может, смысла вообще нет? Может, всё — цепочка случайностей, и мой выбор ничего не решает?

Восьмая. Виктор смотрел на меня, и в его мертвых глазах я увидел что-то похожее на интерес. Как у биолога, наблюдающего за подопытной мышью.

Девятая. Я понял, что если нажму, то перестану быть врачом. Перестану быть тем человеком, которого уважал. Перестану быть собой. Я стану животным, которое спасает своего детеныша любой ценой. Это естественно. Это по-человечески. Но я должен быть больше, чем просто человек. Я должен соответствовать тому образу, который сам себе придумал.

Десятая.

Я убрал руку. Просто сложил их на груди и сделал шаг назад от скамейки. Сердце колотилось где-то в горле.

— Нет, — сказал я. — Я не буду нажимать.

Слово прозвучало, будто кто-то другой произнес его моим ртом.

Виктор смотрел на меня секунду, другую. Потом кивнул. Легко, почти незаметно. Он взял коробочку со скамейки, спрятал в карман. Планшет погас.

— Я ожидал другого, — сказал он. — Обычно врачи нажимают чаще, чем кто-либо другой. Они знают цену жизни слишком конкретно. Абстракции их не интересуют. Но вы удивили меня, доктор. Поздравляю. Вы спасли тысячу детей сегодня. Конвой выдвинется через три часа. Вы будете знать об этом только из новостей, но можете себе представить лица этих детей.

Я молчал. Я не чувствовал ничего, кроме пустоты. Огромной, звенящей пустоты внутри, как будто меня выскоблили изнутри тупым ножом. Я спас тысячу детей. Но Тимофей умрет. Я сейчас пойду в палату, лягу рядом на раскладушку, и буду слушать, как он дышит. И буду знать, что мог его спасти. Мог просто протянуть палец.

— Вы чудовище, — сказал я Виктору. Губы дрожали. — Вы настоящее чудовище.

— Нет, доктор, — он застегнул куртку, собираясь уходить. — Я всего лишь зеркало. Я показываю людям их истинное лицо. Вы свое увидели. Кстати, вы не думайте, что эти дети реально спасутся надолго. Через полгода в регионе снова будет голод. Или эпидемия. Или новый виток войны. Их всё равно убьют. Просто чуть позже. А ваш сын был реален. Он был здесь и сейчас. И вы его не спасли.

Он развернулся и пошел по дорожке прочь. Его фигура быстро растворилась в темноте. Остался только скрип ботинок по подмерзшей земле. И тишина.

Я стоял еще минут пять, может, больше. Потом меня начало трясти. Крупной дрожью, от которой стучали зубы. Я не знал, плакал я или смеялся. Звуки, которые вырывались из горла, были похожи на кашель. Я согнулся пополам, упер руки в колени. Тысяча детей. Они будут жить. Какое-то время. Потом умрут. Как та девушка, которую я оперировал. А Тимоха Тимоха мог жить долго. Лет семьдесят, может быть. Если бы я нажал.

Что я наделал? Что я, черт возьми, наделал?

Я побрел обратно в больницу. Автоматические двери разъехались, впуская меня в тепло. Запах хлорки ударил в нос, и меня чуть не вырвало. Я пошел по лестнице, не дожидаясь лифта. На третьем этаже зашел в палату. Тимофей спал, свернувшись калачиком. Его лысая голова блестела в свете ночника. Наташа дремала в кресле, укрывшись моей старой ветровкой. Я тихо сел на край кровати, взял сына за руку. Рука была горячая, тонкая, пальцы как птичьи косточки.

— Прости, — прошептал я. — Прости меня, Тимоха.

Он не проснулся. Он улыбался во сне. Наверное, ему снились роботы. Или Байкал. Или хариус, который блестит на солнце.

Я положил голову на его кровать и закрыл глаза. Спать я не мог. Я прокручивал в голове каждую секунду этих десяти секунд. Можно было нажать. Можно было спасти его. Никто бы не узнал. Тысяча детей где-то в Африке. Да они даже не узнали бы, что должны были умереть из-за меня. Их смерть была бы статистикой. А Тимофей — это плоть и кровь.

Но я не нажал. И теперь я должен с этим жить. Если это можно назвать жизнью.

Перед самым рассветом, когда небо за окном стало серым, я понял еще одну вещь. Ту, что не даст мне покоя никогда. Виктор сказал, что они изучают природу человека. Это значит, я был не первым. И не последним. Есть другие люди, которым предлагали такой же выбор. И интересно, сколько из них нажали. И сколько из них теперь смотрят на своих спасенных детей и видят в их лицах отражение тех, кого они убили. Или не видят. Или видят, но молчат.

Я чувствовал, как внутри меня что-то сломалось. Как будто тонкая перегородка между моим представлением о себе и реальностью рухнула. Я всегда думал, что я хороший человек. Врач. Спаситель. А на деле оказалось, что я просто человек, который не смог спасти собственного сына из-за какой-то абстрактной химеры под названием «мораль». Кому нужна эта мораль, если твой ребенок умирает?

Я плакал беззвучно. Слезы капали на больничное одеяло. Тимофей так и не проснулся. Утром пришла медсестра, чтобы взять кровь на анализ. Я вышел в коридор, сполоснул лицо ледяной водой. Посмотрел в зеркало. Из зеркала на меня смотрел совершенно чужой человек с красными глазами и серым лицом. Я не знал его.

Через месяц Тимофей умер. Он угасал медленно, как свеча, у которой кончился воск. Последние три дня он почти не приходил в себя. Только один раз открыл глаза, посмотрел на меня и спросил: «Папка, а мы ещё поедим на рыбалку?». Я сказал: «Конечно, поедим». Соврал. Он кивнул и закрыл глаза. Через четыре часа его сердце остановилось. Я видел это на мониторе. Видел, как линия превратилась в прямую. Я слышал писк аппарата. Я стоял рядом и ничего не делал. Я был врачом, но я ничего не делал, потому что реанимировать его было бессмысленно. Опухоль съела его изнутри. Я просто смотрел, как мой сын перестает существовать. Как будто выключили свет.

Когда всё кончилось, я вышел из палаты. Наташа осталась там, обнимая маленькое тело. А я пошел вниз, в холл, к тому самому автомату с кофе. Я сел на корточки прямо на пол и завыл. Это был звук, который издает раненое животное. Я выл и бил кулаком в стену, пока костяшки не треснули. Подбежали санитары, кто-то попытался меня поднять. Я вырвался и убежал в сквер. Тот самый, где стоял с Виктором месяц назад. Я упал на колени в мокрую траву и закричал в небо: «Я дурак! Я дурак! Я убил его! Я убил своего сына!».

Небо было серым. Оно ничего не ответило. Оно просто висело надо мной, равнодушное ко всему.

Через неделю после похорон я нашел способ связаться с организацией. У меня осталась визитка, которую Виктор сунул мне в карман, пока я был в прострации после нашего разговора. На ней был только номер телефона. Я позвонил. Мне ответили сразу.

— Я Смирнов, — сказал я. — Тот врач. У которого вы были месяц назад.

— Мы знаем, кто вы, — голос был другой, не Виктора. Женский. — Приносим соболезнования.

— Я хочу работать на вас. Делать то же, что делал Виктор. Предлагать людям этот ваш выбор.

На том конце провода помолчали.

— Почему, доктор?

— Потому что я хочу смотреть им в глаза. Я хочу видеть, как они выбирают. Я хочу понимать, почему одни нажимают, а другие нет. И я хочу говорить им потом, что они правы. Что бы они ни выбрали.

— Это больно, доктор. Вы уверены?

— Я уже мертв внутри. Мне нечего терять.

Через три дня я вышел на новую работу. Мне выдали такую же черную коробочку с красной кнопкой. И показали, как пользоваться планшетом. Там были сотни фотографий. Голодающие дети из Африки, больные дети из Азии, беженцы с Ближнего Востока. Статистика.

Цифры. Лица. Теперь я должен был находить отчаявшихся родителей и предлагать им сделку. Я стал тем, кого ненавидел больше всего на свете. Я стал зеркалом. И в этом зеркале я собирался увидеть всё. До самого дна.

## Зеркало

Они сняли мне квартиру на окраине. Панельная девятиэтажка, двор с ржавыми качелями, магазин «Продукты» в цоколе. Обычный спальный район, где люди живут тихо и умирают тихо. Квартира была пустая. Диван, стол, стул, чайник. В углу стоял телевизор, но я его не включал. Я вообще перестал смотреть телевизор после смерти Тимофея. Там показывали жизнь, а я в ней больше не участвовал.

Первые две недели меня никто не трогал. Мне дали время привыкнуть. Я сидел на диване и смотрел в стену. Обои были старые, в цветочек, выцветшие. Где-то над плитой осталось жирное пятно от предыдущих жильцов. Я думал о том, кто здесь жил раньше. Может, такая же сволочь, как я. Может, обычная семья с детьми. Квартира пахла пылью и чужим табаком. Я курил в форточку одну за одной, хотя бросил лет десять назад. Легкие горели, но это было приятно. Хоть что-то горело внутри, кроме стыда.

Наташа не звонила. Я сам не звонил тоже. После похорон мы просто разошлись в разные стороны, как два поезда на узловой станции. Она поехала к матери в Тверь. Я остался. Мы не развелись официально, но брак кончился в ту минуту, когда перестало биться сердце Тимофея. Она не винила меня. Она просто не знала. Никто не знал про ту ночь. Про кнопку. Про Виктора. Про тысячу детей, которые сейчас, возможно, ещё живы. А может, уже нет. Я не проверял новости. Боялся.

На пятнадцатый день в дверь позвонили. Я открыл. На пороге стоял Виктор. Он был в том же темном пальто, что и в больнице, только теперь на шее был шарф. На лице был ноябрь, слякоть, ветер пробирал до костей.

— С вещами, — сказал я вместо приветствия.

— С инструкциями, — ответил он и прошел внутрь, не разуваясь.

Он оглядел квартиру, хмыкнул, сел на стул. Я остался стоять у окна. Между нами был стол, на столе — пепельница, полная окурков. Виктор посмотрел на неё, но ничего не сказал. Он вообще редко говорил что-то лишнее.

— Ты уверен, что хочешь этого? — спросил он, доставая из портфеля планшет. Тот самый, с облупленным уголком. — Работа не для слабонервных. Ты думаешь, что видел дно, но это не так. Есть уровни ниже.

— Я хирург. Я видел, как умирают дети на столе. Свои дети. Не чужие.

— Свой ребенок — это другое. Это личное. А здесь ты будешь смотреть, как чужие люди принимают решение о чужих детях. И ты будешь частью этого. Ты будешь подталкивать их к решению. Не словами. Просто своим присутствием. Своей коробочкой с кнопкой. Ты будешь последней каплей, которая склоняет чашу весов.

— Я понимаю.

— Нет, не понимаешь. Пока не понимаешь.

Он включил планшет. На экране появилась таблица. Имена, даты, статусы. Я увидел свою фамилию. Смирнов А.С. Статус: «Отказ». Дата: та самая ночь. Ниже была графа «Результат». Там стояло: «Объект А — летальный исход. Объекты В — выживаемость 78% на текущий момент». Объект А — это Тимофей. Объекты В — это тысяча детей в Судане. 78 процентов. Значит, около двухсот уже умерли. От дизентерии, от малярии, от истощения. Им дали еду, но не всем еда помогла. Слишком поздно. Я спас не тысячу. Я спас около восьмисот. И то не факт, что они доживут до конца года. Виктор тогда не соврал.

— Ты как? — спросил он, глядя на мою реакцию.

— Нормально, — сказал я. Горло сжало спазмом. — Что значит «Объекты В»?

— Это терминология. Не обращай внимания. Мы работаем с большими данными. Каждый выбор, который делают наши клиенты, это точка на графике. Мы исследуем корреляции.

Возраст, пол, профессия, вероисповедание, уровень дохода, наличие других детей. Всё имеет значение. Например, женщины нажимают кнопку в 97 процентах случаев. Это почти абсолют. Мать почти никогда не пожертвует своим ребенком ради абстрактных незнакомцев. Слишком сильна биология.

— А отцы?

— Отцы — около 89 процентов. Тоже много, но есть процент отказов. Ты вошел в эти одиннадцать. Поздравляю.

— Я не хочу поздравлений.

— Я и не поздравляю. Я констатирую факт. Ты уникальный экземпляр, Андрей. Врач. Мужчина. Атеист. Либеральных взглядов. С высоким уровнем эмпатии по тестам. Ты был почти стопроцентным кандидатом на нажатие. А ты не нажал. Почему?

Я молчал. Я сам не знал ответа. Не мог сформулировать. Там, в сквере, за десять секунд, в голове пронеслась целая жизнь. Я думал о клятве Гиппократова, о морали, о том, что я не бог. Но сейчас, сидя в пустой квартире, я понимал другое. Я не нажал не потому что был хорошим. Я не нажал потому, что испугался. Испугался жить с этим грузом. Я выбрал быть чистеньким. Я выбрал комфорт собственной совести вместо жизни сына. Вот что я сделал. И осознание этого жгло меня сильнее любой потери.

— Я не знаю, — сказал я вслух. — Наверное, я просто дурак.

— Ладно, — Виктор выключил планшет. — Это неважно для работы. Важно другое. Ты теперь агент. Твой позывной — Смирный. Очень подходит. Твоя задача — находить кандидатов и проводить с ними беседу по протоколу. Кандидатов ищем мы, аналитический отдел. Тебе дают адрес, имя, обстоятельства. Ты выезжаешь, вступаешь в контакт, предлагаешь выбор. Фиксируешь результат. Всё.

— И много у нас таких агентов?

— Достаточно. По стране — около тридцати. По миру — несколько сотен. Сеть раскинута широко. Мы не единственная организация, которая этим занимается. Есть конкуренты. Есть те, кто работает на государства. Есть частные исследователи. Но мы — самые старые. Мы начали это в середине двадцатого века. С тех пор многое изменилось, но суть осталась та же. Люди не меняются. Меняются только декорации.

— Кто вас финансирует?

— Неважно. Деньги всегда есть у тех, кто умеет их брать. Наша организация некоммерческая. Мы не торгуем оружием и наркотиками. Мы занимаемся чистой наукой. Антропологией выбора. Этика без прикрас. То, о чем философы только пишут, мы проверяем на практике.

— Это аморально.

— Да. И что? — он посмотрел на меня в упор. — Ты пришел сюда добровольно. Ты сам захотел стать частью этого. Не надо теперь читать мне мораль, доктор. Ты свой моральный выбор уже сделал. В ту ночь. И теперь ты здесь. Так что давай без лицемерия.

Я кивнул. Он был прав. Я потерял право на мораль в тот момент, когда позвонил по номеру с визитки.

— Первый выход у тебя через три дня, — сказал Виктор, вставая. — Получишь файл на почту. Изучи. Там будут все данные. И запомни главное правило: ты не уговариваешь. Ты не давишь. Ты просто предоставляешь факты. Выбор всегда за ними. Мы не убийцы, Андрей. Мы просто показываем людям, кто они есть на самом деле.

Он ушел. Дверь захлопнулась, и я снова остался один. Я подошел к окну, посмотрел вниз. Виктор сел в черный седан без номеров. Машина мягко тронулась и исчезла за углом. Я закурил новую сигарету. Пальцы дрожали. Первый выход через три дня. Я стану тем, кого ненавижу. Я буду стоять перед отчаявшимся отцом или матерью и протягивать им черную коробочку с красной кнопкой. И смотреть им в глаза. И видеть в их глазах себя.

Вечером я получил файл. Это было досье. Несколько страниц текста и фотографии. Её звали Марина. Тридцать четыре года. Менеджер по продажам в строительной фирме. В разводе. Дочь Алиса, семь лет. Диагноз: острый лимфобластный лейкоз, рецидив после трансплантации костного мозга. Состояние крайне тяжелое. Прогноз: без экспериментального лечения за рубежом — месяц, максимум два. Стоимость лечения: восемьсот тысяч евро. Неподъемная сумма. Марина продала квартиру, машину, заняла у всех, кого можно. Собрала около ста тысяч. Остальное — пропасть. Фонд помощи отказал, потому что прогноз слишком плохой. Ребенок «неперспективный» с точки зрения эффективности расходования средств. Обычная история. Слишком обычная.

Я смотрел на фотографию девочки. Алиса. Светлые волосы, заплетенные в косички. Улыбается, щербатая — выпал передний зуб. На голове — венчик из одуванчиков. Фотография прошлогодняя, до болезни. Сейчас у неё нет волос. И зубы, наверное, уже не выпадают, потому что химия замедляет всё. Она лежит в палате и смотрит в потолок. А её мать сидит рядом и считает дни. Дни, которые можно купить за евро.

Я закрыл файл. Потом открыл снова. Перечитал. Попытался представить себе Марину. Как она спит на раскладушке рядом с койкой дочери. Как она пьет больничный кофе из автомата. Как плачет в туалете, чтобы дочь не слышала. Я знал всё это. Я сам проходил через это месяц назад. Только у меня был Тимофей, а у неё Алиса. И у меня был шанс. Тот самый шанс, от которого я отказался.

Три дня я почти не спал. Я ходил по квартире из угла в угол, курил, смотрел в стену. Попытался придумать, что я ей скажу. Как я смогу смотреть ей в глаза и предлагать это? «Здравствуйте, Марина. У вас есть выбор: ваша дочь или тысяча детей в Бангладеш». Это звучало как бред сумасшедшего. Но я знал, что это не бред. Это реальность. Самая жестокая реальность, которую только можно придумать.

На третий день я поехал в больницу. Это была не та клиника, где лежал Тимофей. Другая. На другом конце города. Детское онкологическое отделение номер семь. Типовое здание советской постройки, облупленный фасад, пандус для колясок. Внутри — всё тот же запах. Хлорка, лекарства, страх. Я шел по коридору, и мне казалось, что я попал в петлю времени. Вот сейчас я поверну за угол и увижу Наташу. И Тимофей выбежит мне навстречу, крича: «Папка, смотри, что мне дали!». Но никто не выбежал. Коридор был пуст, только в конце сидела медсестра и пила чай из пластикового стаканчика.

Я нашел нужную палату. Постучал. Тихий голос сказал: «Войдите». Я вошел. Марина сидела на стуле возле окна. Дочь спала на кровати, опутанная проводами и трубками. Капельница мерно капала, отсчитывая секунды. Марина подняла на меня глаза. У неё были красные веки — то ли от слез, то ли от недосыпа. Под глазами синяки. Волосы собраны в небрежный пучок, из которого выбивались пряди. Она была красива той бледной, измученной красотой, которая бывает у матерей в детских больницах. Красота на излете.

— Вы кто? — спросила она без враждебности, просто с усталостью. — Ещё один журналист?

— Нет. Я меня зовут Андрей. Я представляю организацию, которая может вам помочь. С лечением Алисы.

Она сразу напряглась. Выпрямилась на стуле, в глазах мелькнула надежда — быстрая, как вспышка молнии. Но тут же погасла. Она уже обжигалась. Таких, как я, к ней приходило много. Мошенники, сектанты, «добрые люди», которые обещали золотые горы, а потом исчезали.

— У меня нет денег, — сказала она сухо. — Я всё продала. Если вам нужна предоплата, можете сразу уходить.

— Мне не нужны деньги. Я пришел предложить вам другое.

Я сел на соседний стул, напротив неё. Чуть наклонился вперед, чтобы говорить тихо. Алиса спала, но я не хотел её разбудить. Я не хотел, чтобы она слышала этот разговор. Семилетние дети не должны слышать такие разговоры.

— Мы можем оплатить полный курс лечения вашей дочери. Клиника в Израиле. Лучшие специалисты. Экспериментальная терапия, которая дает хорошие результаты при рецидивах. Шансы на ремиссию — около шестидесяти процентов. Это хорошие шансы, Марина. Очень хорошие.

Она слушала молча. Губы чуть приоткрылись. Руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. Я видел, как побелели костяшки. Она хотела верить. Она отчаянно хотела верить, но боялась. Правильно боялась. Я сам бы боялся на её месте.

— Что вы за это хотите? — спросила она наконец. — Что я должна сделать? Продать почку? Подписать договор на душу?

— Ничего такого. Просто сделать выбор.

Я достал планшет. Тот самый, облупленный. Включил экран. Там был видеоряд. Другая страна, другие дети. На этот раз — Бангладеш. Трущобы Дакки. Дети на свалках, роющиеся в мусоре в поисках еды. Тонкие, грязные, в лохмотьях. У некоторых — язвы на коже, следы тяжелых инфекций. Они смотрели в камеру с тем же выражением, что и дети в Судане. Выражением обреченности. Они не ждали помощи. Они просто жили — если это можно назвать жизнью.

— Что это? — голос Марины дрогнул.

— Это Бангладеш. Здесь каждый день умирают сотни детей. От голода, от дизентерии, от туберкулеза. Болезни, которые мы лечим за копейки, здесь смертельны. У нашей организации есть возможность развернуть мобильную клинику и спасти тысячу детей. Тысячу. Понимаете? Целую тысячу жизней. Завтра. Мы можем начать завтра же.

— Но? — она уже поняла. Я видел по глазам, что она поняла. Умная женщина. Менеджер по продажам. Умеет читать между строк.

— Но ресурсы ограничены. Мы можем профинансировать либо миссию в Бангладеш, либо лечение вашей дочери. Одно из двух. Выбор за вами.

В палате стало очень тихо. Только капельница капала, да где-то за окном шуршали шины по асфальту. Марина смотрела на экран, потом на спящую дочь, потом снова на экран. На её лице сменялись эмоции — неверие, ужас, гнев, отчаяние. Я ждал.

— Вы серьезно? — наконец выдохнула она. — Это какой-то садистский эксперимент? Вы из телешоу? Скрытая камера?

— Нет. Это реальность. И у вас есть десять секунд, чтобы решить.

Я положил на тумбочку черную коробочку с красной кнопкой. Ту самую. Марина уставилась на неё, как на гремучую змею. Её дыхание участилось. Я видел, как пульсирует жилка на шее.

— Десять секунд? Сейчас? Вы с ума сошли? Я не могу я не знаю это бесчеловечно!

— Время пошло.

Я смотрел на часы. Секундная стрелка дернулась и поползла по циферблату. Марина схватилась за голову руками, запустила пальцы в волосы. Из её горла вырвался звук — не то стон, не то вскрип. Она смотрела на кнопку, на планшет, на дочь. Я видел, как в её голове происходит та же борьба, что и у меня месяц назад. Инстинкт против морали. Плоть против идеи. Конкретный ребенок против абстрактной тысячи.

— Но это же дети, — прошептала она. — Тысяча детей. Как я могу

— Вы можете, — сказал я спокойно. — Вы просто нажимаете. И ваша дочь живет. Или не нажимаете. И живут они. Всё просто.

— Это не просто! Это ад! Вы пришли из ада!

— Возможно. Время идет.

Осталось пять секунд. Четыре. Три. Марина всхлипнула, протянула руку к кнопке. Её палец завис над красной точкой. Я видел, как он дрожит. Она посмотрела на меня. В её глазах была такая мука, что я сам чуть не отвернулся. Но я не отвернулся. Я должен был видеть. Это моя работа.

— Простите меня, — выдохнула она.

И нажала.

Кнопка ушла в корпус с мягким щелчком. Никакой вспышки, никакого звука. Просто щелчок. Просто пластик встретился с пластиком. Марина отдернула руку, как будто обожглась. Закрыла лицо ладонями и заплакала — громко, навзрыд, не сдерживаясь. Плечи тряслись. Алиса заворочалась во сне, но не проснулась. Привыкла спать под шум.

Я убрал коробочку в карман. Сделал пометку в планшете: «Объект — нажатие. Статус — успех». Потом встал.

— Завтра с вами свяжутся, — сказал я. — Билеты, виза, трансфер — всё организуют. Лечение начнется через три дня. Ваша дочь будет жить.

Марина не ответила. Она рыдала, уткнувшись в колени. Я постоял ещё секунду, глядя на неё. Хотел сказать что-то ещё. Что-то, что облегчило бы её боль. Но не было таких слов. Никакие слова не могли стереть того, что она только что сделала. Она убила тысячу детей, чтобы спасти свою дочь. И теперь ей с этим жить. Как и мне жить с моим выбором.

Я вышел в коридор. Прислонился к стене. Меня трясло. Не от холода — от возбуждения, от выброса адреналина. Я ожидал, что буду презирать её за этот выбор. Но не презирал. Я понимал её. Слишком хорошо понимал. Она сделала то, что должен был сделать я. Она спасла своего ребенка. Она оказалась сильнее меня. Или слабее — с какой стороны посмотреть.

Я пошел по коридору к выходу. Возле лифта меня догнала медсестра — та самая, что пила чай.

— Вы к Марине приходили? — спросила она. — Она в порядке? А то кричала вроде

— В порядке, — сказал я. — Просто хорошие новости. Нашлись деньги на лечение.

— Правда? — медсестра просияла. — Ой, как хорошо! Алиска такая девочка хорошая. Такая боевая! Всё рисует, даже с капельницей. Говорит, станет художницей, когда вырастет. Значит, вылечат её?

— Вылечат.

Я вошел в лифт. Двери закрылись. Я посмотрел на свое отражение в зеркальной панели. На меня смотрел человек в темном пальто, с серым лицом и красными от недосыпа глазами. Человек, который только что помог одной матери убить тысячу детей. И чувствовал при этом странное облегчение. Потому что впервые за месяц я увидел, как кто-то сделал правильный выбор. Неправильный — для мира. Но правильный — для своего ребенка.

Я понял ещё кое-что в ту минуту. Я начал ненавидеть людей, которые не нажимают. Таких, как я. Мы хуже, чем те, кто жмет. Мы — лицемеры. Мы думаем, что мы хорошие. Что мы сохранили чистые руки. А на самом деле мы просто трусы. Мы позволили своим детям умереть, чтобы гордиться своей моралью. Чтобы смотреть в зеркало и говорить: «Я не такой, как они». А зеркало молчит. Зеркало знает правду.

Вечером я вернулся в свою пустую квартиру. Сел на диван. Закурил. В голове крутилась одна и та же мысль, как заезженная пластинка. Марина нажала. Марина спасла дочь. Марина теперь будет жить с чувством вины, но её дочь будет жить. А мой сын — в земле. Потому что я побоялся испачкать руки. Я выбрал быть святым. И святость моя оказалась хуже любого греха.

Я достал телефон. Нашел номер Наташи. Хотел позвонить, рассказать всё. Про Виктора, про кнопку, про ту ночь. Пусть она знает, что я мог спасти Тимофея и не спас. Пусть она возненавидит меня так же, как я ненавижу себя. Это будет справедливо. Это будет правильно.

Но я не позвонил. Трус.

Я положил телефон на стол и пошел спать. Снился мне Бангладеш. Горы мусора, дым, крики. И тысяча детей, которые смотрят на меня и спрашивают: «Почему ты позволил ей нажать? Почему ты нас не спас?». Я не мог им ответить. Я проснулся в холодном поту в четыре утра и больше не уснул. За окном занимался серый ноябрьский рассвет. Где-то в Азии сейчас умирали дети. А где-то в Израиле Алиса готовилась к перелету. Мир продолжал вращаться, равнодушный ко всему.

Через неделю мне дали новое досье. И я поехал на новую встречу. И ещё через неделю — ещё одну. Я втянулся. Я стал профессионалом. Я научился смотреть в глаза отчаявшимся людям и не отводить взгляд. Я научился чувствовать, кто нажмет, а кто нет, ещё до того, как достану коробочку. У меня появилось чутье. Азарт исследователя, как у Виктора. И это пугало меня больше всего. Я превращался в них. В тех, кто смотрит на чужую боль через стекло. Кто фиксирует результаты и идет дальше.

Но иногда, лежа ночью без сна, я всё ещё видел лицо Тимофея. И слышал его голос: «Папка, а мы ещё поедим на рыбалку?». И тогда я выл в подушку, заглушая звук, чтобы соседи не вызвали полицию. И ненавидел себя. И ненавидел Марину за то, что она оказалась смелее меня. И ждал. Ждал чего-то, что перевернет эту жизнь. Чего-то, что даст ответ на вопрос, который я боялся задать самому себе: кто я теперь? Человек или инструмент? Жертва или палач? Или всё сразу, в одном флаконе? Ответа не было. Была только работа. И коробочка с кнопкой. И бесконечная череда чужих глаз, в которых я видел только свое отражение.

## Собачья работа

К концу второго месяца я перестал запоминать лица. Они слились в сплошной поток — матери, отцы, иногда бабушки. Все с одинаковыми кругами под глазами, с одинаковым запахом больницы, с одинаковой надеждой, которая гасла, когда я доставал планшет. Сначала я пытался вести учет в блокноте. Имена, даты, результаты. Но потом бросил. Какой смысл? Цифры и так уходили в базу, в тот самый дата-центр, который Виктор называл «облаком». Облако знало всё. Сколько нажатий, сколько отказов, среднее время принятия решения, корреляции по знакам зодиака — у них даже такая статистика была. Я не шучу. Однажды Виктор обмолвился, что Овны нажимают чаще, чем Рыбы. Я не знал, верить или нет. Но проверять не стал.

Я жил в той же квартире. Заплатил за неё на три месяца вперед из денег, которые мне перечисляли на карту. Сумма была приличная. Организация не жадничала. Видимо, работа агента считалась вредной для психики, и её хорошо компенсировали. Я тратил деньги только на сигареты, дешевый растворимый кофе и иногда — на водку. Водку я покупал в маленьком магазинчике внизу. Продавщица, тучная тетка с начесом, уже знала меня в лицо и молча пробивала бутылку, не задавая вопросов. Один раз она спросила: «Чего грустный такой, милоч? Жена ушла?». Я сказал: «Сын умер». Она замолчала и больше не лезла с разговорами. Только иногда подкладывала в пакет шоколадку — бесплатно. От жалости. Я эту шоколадку не ел. Складывал в ящик стола. Там уже лежало штук пять.

В середине ноября выпал снег. Мокрый, тяжелый, он сразу таял на асфальте, превращая город в серое месиво. Я ходил по улицам в старых ботинках, которые промокали. Ноги мерзли, но я не обращал внимания. Физический дискомфорт отвлекал от того, что творилось в голове. А в голове творился бардак. По ночам мне снились дети. Не Тимофей — слава богу, он снился редко. Снились те, кого я убил. Вернее, те, кого убили мои клиенты. Тысячи детей. Они стояли молча и смотрели на меня. Они не кричали, не обвиняли. Просто смотрели. И от этого было в сто раз хуже.

Однажды утром я не выдержал. Позвонил Виктору.

— Мне нужно поговорить, — сказал я.

— У тебя психологический срыв? — спросил он буднично, как спрашивают о погоде. — Это нормально для третьего месяца. Приезжай.

Он назвал адрес. Это был офис в центре — неприметная дверь во дворе старого доходного дома, без вывески. Внутри всё было стерильно. Белые стены, серая мебель, никаких лишних деталей. Комната переговоров, куда меня провели, напоминала кабинет психотерапевта. Кресло, диван, журнальный столик. На столике — графин с водой. Виктор сидел в кресле и читал какой-то отчет на планшете.

— Садись, — сказал он, не поднимая глаз. — Рассказывай.

Я сел на диван. Тот скрипнул кожей. Я молчал, собираясь с мыслями. Слова застревали в горле, как кости. Наконец я выдавил:

— Я больше не могу. Это разъедает.

— Что именно разъедает? — он отложил планшет и посмотрел на меня. — Сформулируй.

— Я убиваю детей. Каждый день. Тысячами. Я протягиваю кнопку — и они умирают. Не я лично, конечно. Но я — часть механизма. Я курок. Без меня выстрела бы не было.

— Ты путаешь причину и следствие. Ты не убиваешь детей. Ты предлагаешь выбор. Выбор делают они. Если бы не ты, они вообще не получили бы шанса. Их дети умерли бы в любом случае. Так же, как умер твой сын. Ты даешь им возможность, которой у тебя не было. — Он чуть помолчал. — Вернее, была, но ты ею не воспользовался.

Каждое слово било точно в цель. Виктор умел это делать. Он знал мои болевые точки и давил на них безжалостно.

— Но эти тысячи детей в Африке и Азии — начал я.

— Что — эти дети? — перебил он. — Ты думаешь, они реальны?

Я замер.

— В смысле — реальны? Я видел видео. Фотографии.

— Фотографии настоящие. Видео настоящее. Ситуация в целом — настоящая. Голод, болезни, войны — всё правда. Но конкретные дети, которым ты якобы отказываешь в спасении, — это симуляция. Ну, почти. Это такой же фантом, как и твоя совесть. Пойми, организация не держит наготове мобильные клиники, которые ждут твоего сигнала. У нас нет конвоев с продовольствием, которые стоят на низком старте и заводят моторы, если очередной кандидат не нажмет кнопку. Это было бы слишком дорого и логистически невозможно.

Я молчал. В висках застучало. Он продолжал:

— Мы работаем по-другому. Мы фиксируем решение. Если человек нажимает — мы оплачиваем лечение. Всё. Ресурсы идут на его ребенка. Если не нажимает — мы не оплачиваем ничего. Но и в Африку мы не едем. Эти дети всё равно умирают. От голода, от болезней, от пуль повстанцев. Их смерть — это константа. Фон. Статистическая погрешность. Ты не спасаешь их своим отказом, Андрей. Ты просто убиваешь своего ребенка впустую. Как ты убил своего.

Я вцепился пальцами в подлокотник. Кожа скрипнула. Мне показалось, что я сейчас задохнусь.

— Ты врешь, — прохрипел я. — В тот раз, в больнице, ты сказал, что конвой пойдет. Что тысяча детей будет спасена.

— Я солгал, — сказал Виктор просто. — Это часть протокола. Если кандидат отказывается, мы говорим ему, что он спас детей. Это облегчает его страдания. Дает иллюзию смысла. Но это иллюзия. Никакой конвой никуда не пошел. Дети в Судане умерли — кто через день, кто через неделю. Их всё равно бы не спасли. Система так устроена. Ресурсы идут туда, где есть отдача. Абстрактная тысяча сирот никому не нужна. Ну, кроме благотворительных фондов, которые пилят бюджет.

Он говорил это спокойно, глядя мне прямо в глаза. Без тени смущения. Как лектор на кафедре. Я смотрел на него и чувствовал, как во мне закипает ярость. Темная, вязкая, как смола. Я вскочил с дивана.

— Ты ты, сука

— Сядь, — сказал он тихо, но в голосе был металл. — Сядь и дослушай. Ты пришел сюда за правдой? Ты её получаешь. Не нравится — дверь там. Но тогда ты останешься один. Без работы, без денег, без смысла. Вернешься в свою пустую квартиру и будешь пить водку, пока не сдохнешь. Или полезешь в петлю. Выбирай.

Я стоял, тяжело дыша. Кулаки сжимались и разжимались. Я представил, как бью его в лицо. Как хрустит нос, как брызжет кровь на белую рубашку. Но я не ударил. Потому что он был прав. Мне некуда идти. Я сам выбрал этот путь. Я сам позвонил. Я сам хотел правды. И вот она. Горькая, как хина.

Я сел.

— Значит, всё это — спектакль? — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Мы просто убиваем детей и наживаемся на этом?

— Мы никого не убиваем, — терпеливо, как ребенку, объяснил Виктор. — Болезнь убивает. Мы даем выбор. Тот же выбор, что стоит перед любым родителем в любой точке мира. Просто мы его формализуем. Делаем явным. Ты когда ешь бутерброд, ты тратишь деньги, которые мог бы отправить голодающим. Ты убиваешь этим бутербродом ребенка в Африке? Нет. Потому что связь опосредована. Мы просто убираем посредников. Вот и всё.

— Но зачем? Зачем всё это? Наука, исследования, чертовы графики?

— Это сложный вопрос. Если коротко — мы ищем предел. Предел, за которым человек перестает быть человеком. Или наоборот — становится им в полной мере. Мы изучаем

границу между биологией и моралью. Между личным и общественным. Это фундаментальная проблема. Ты же врач, ты должен понимать важность фундаментальных исследований.

— Вы ставите эксперименты на живых людях. На отчаявшихся родителях. На умирающих детях. Это бесчеловечно.

— Да. Но эффективно. Данные, которые мы собираем, бесценны. Они позволяют прогнозировать поведение масс. Власть и имущие очень интересуются нашими отчетами. Ты даже не представляешь, насколько.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.